

АВГУСТ КУБИЧЕК

ФЮРЕР, КАКИМ ЕГО НЕ
ЗНАЛ НИКТО.

ВОСПОМИНАНИЯ
ЛУЧШЕГО ДРУГА

ГИТЛЕРА. 1904-1940

Август Кубичек

**Фюрер, каким его не знал
никто. Воспоминания лучшего
друга Гитлера. 1904-1940**

«Центрполиграф»

Кубичек А.

Фюрер, каким его не знал никто. Воспоминания лучшего друга Гитлера. 1904-1940 / А. Кубичек — «Центрполиграф»,

Друг Гитлера, Август Кубичек, в своей книге рассказывает о будущем лидере Третьего рейха, таком, какого не знали ни его сторонники, ни противники, ни ближайшее окружение. По мере увлечений Гитлера Кубичек представлял его в будущем то великим артистом, то музыкантом, то архитектором и наконец понял, что главным его интересом является политика. Пытаясь найти объяснение главной черте характера Гитлера – необыкновенной твердости во всем, что он говорил и делал, – Кубичек изучает его семью, прослеживает и анализирует поведение и поступки будущего фюрера Германии вплоть до их последней встречи 23 июля 1940 г. Книга снабжена фотоматериалами из архива Адольфа Гитлера, среди них снимки членов его семьи, воспроизведения живописных работ и неосуществленных архитектурных проектов.

© Кубичек А.

© Центрполиграф

Содержание

Предисловие к оригинальному изданию	5
Предисловие автора	6
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Август Кубичек

Фюрер, каким его не знал никто. Воспоминания лучшего друга Гитлера. 1904-1940

Предисловие к оригинальному изданию

Наше внимание не случайно привлёк шестидесятидвухлетний служащий муниципального совета Эфердинга в Верхней Австрии. Нам сказали, что Август Кубичек, работающий дирижером, в юности четыре года был задушевым другом Адольфа Гитлера.

Мы понимали, что рассказ Кубичека чрезвычайно важен для исторической характеристики немецкого диктатора, потому что он был единственным другом Гитлера в его отроческие годы и, вероятно, в большой степени оказал влияние на становление Гитлера. На этом этапе начинается формирование человеческой личности, и именно отсюда историк должен начинать свое исследование, если имеет намерение заложить фундамент биографии Гитлера как политика и государственного деятеля. По этим причинам мы попросили Августа Кубичека написать свои воспоминания об этих годах так, как они сохранились в его памяти. Мы знали, что на Кубичека можно положиться. Он был идеалистом, который после восстановления связи с Гитлером в 1938 году вежливо, но твердо отвергал любое предложение немецкого вождя оставить государственную службу в Австрии и занять главенствующее положение в музыкальных кругах рейха. Однако, когда в 1942 году звезда Гитлера стала клониться к закату, Кубичек, хотя внутренне и был против национал-социализма, вступил в НСДАП, проявив солидарность с другом юности.

К выполнению своей авторской задачи Кубичек приступил после немалых раздумий и самоанализа. Его книга была впервые опубликована в 1953 году и вызвала сильное волнение у читателей. Она была переведена на английский, французский и испанский языки, а отрывки из нее появились в мировой прессе, и впоследствии на них стали часто ссылаться историки.

К моменту смерти автора 23 октября 1956 года книга Кубичека получила международное признание. Голословное утверждение, появившееся во многих публикациях, о том, что «общие направления» этих мемуаров были еще в 1938 году согласованы Кубичеком с «главным архивом НСДАП», является неправдой. Издательскому дому Леопольда Штекера ничего не известно о таком соглашении, а вдова Кубичека письменно заверила нас, что ее муж никогда не посещал архив НСДАП в Мюнхене.

Во всяком случае, ничто не наводит на мысль о том, что он написал черновик своих мемуаров до войны. Более того, зная его, мы считаем, что Кубичек не был автором, который мог писать по указке; на страницах первого издания его книги на немецком языке он подчеркнул, что его воспоминания «не подвергались ничьему влиянию и не являлись чьим-либо поручением».

Издательство Леопольда Штекера

Предисловие автора

Решение изложить на бумаге воспоминания об Адольфе Гитлере, которого я знал в годы юности, далось мне нелегко, так как слишком велика опасность быть неправильно понятым. Но шестнадцать месяцев, которые я провел в американском лагере для интернированных, будучи пятидесятилетним мужчиной, подорвали мое здоровье, и поэтому я должен правильно использовать то время, которое мне осталось.

В период с 1904 по 1908 год я был единственным и исключительным другом Адольфа Гитлера сначала в Линце, а затем в Вене, где мы вместе жили в одной комнате. Об этих годах жизни Гитлера, когда начала формироваться его личность, мало что известно, а многое из той информации, что существует, неверно. В «Майн кампф» его целью было лишь вскользь упомянуть об этом периоде, так что, может быть, мои собственные наблюдения могут помочь подкрепить тот образ Адольфа Гитлера, который по прошествии времени у нас остается, с какой бы позиции мы на него ни смотрели.

Я старался не привнести чего-либо не соответствующего действительности и не упустить чего-то по политическим соображениям. Я хочу иметь возможность сказать: именно так все и происходило. Было бы неправильным, например, приписывать Гитлеру мысли и намерения, которые были присущи именно ему в более поздний период, и я очень заботился о том, чтобы избегать этой ловушки, и составил свое повествование так, как будто этот самый Адольф Гитлер, близким другом которого я был, являлся кем-то, с кем я навсегда потерял связь после 1908 года или который пал в Первой мировой войне.

Я понимаю, как трудно точно вспомнить мысли и события, которые произошли более сорока лет назад, но моя дружба с Адольфом Гитлером с самого начала несла на себе печать чего-то необыкновенного, и подробности отношений ярче отпечатались в памяти, чем если бы это было что-то обыденное. К тому же я был признателен Адольфу Гитлеру за то, что он убедил моего отца в том, что в силу особых музыкальных способностей, данных мне природой, мое место в Венской консерватории, а не в мебельной мастерской. Эта решающая перемена в моей жизни, устроенная Адольфом Гитлером вопреки стойкому сопротивлению моей семьи, придала в моих глазах нашей дружбе большее содержание. Кроме того, у меня, слава богу, отличная память, связанная с моим прекрасным слухом. В процессе написания этой книги у меня была возможность представить вниманию читателей письма, почтовые открытки и наброски, которые я получал от своего друга, и мои собственные короткие записи, которые я сделал довольно давно.

Август Кубичек

Глава 1

Первая встреча

Я родился в Линце 3 августа 1888 года. До женитьбы мой отец работал помощником обойщика у одного мебельного мастера в Линце. Обычно он обедал в небольшом кафе и именно там познакомился с моей матерью, которая работала официанткой. Они полюбили друг друга и в июле 1887 года поженились.

Сначала молодые жили в доме родителей моей матери. Зарботки моего отца были невелики, работа была тяжелой, а моей матери пришлось оставить работу, когда она ожидала моего рождения. Так что, когда я родился, они жили в довольно стесненных обстоятельствах. Спустя год родилась моя сестра Мария, но она умерла еще в раннем возрасте. На следующий год на свет появилась моя сестра Тереза; она умерла в возрасте четырех лет. Третья моя сестра Каролина безнадежно заболела и умерла в возрасте восьми лет. Горе моей матери было безгранично. Всю свою жизнь она боялась потерять и меня тоже, потому что я был единственным, оставшимся у нее из четверых детей. Из-за этого вся любовь матери сконцентрировалась на мне.

Заслуживает внимания параллель между судьбами семей Кубичека и Гитлера, матери которых одновременно перенесли много страданий. Мать Гитлера потеряла троих детей: Густава, Иду и Отто. В течение длительного времени Адольф был единственным ребенком. Когда Гитлеру исполнилось пять лет, у него появился брат Эдмунд, но он умер в шестилетнем возрасте. Единственным выжившим ребенком в семье была его сестра Паула, родившаяся в 1896 году. И хотя мы с Адольфом редко упоминали своих умерших братьев и сестер, тем не менее чувствовали себя как уцелевшие потомки рода, находящегося в опасности, что накладывало на нас особую ответственность.

Не осознавая этого, Адольф временами называл меня Густавом вместо Августа; даже в письме, которое он послал мне, на конверте значится это имя – имя его первого умершего брата. Возможно, он просто спутал его с уменьшительно-ласкательным Густл от имени Август или, быть может, хотел доставить удовольствие своей матери, наградив этим именем человека вроде меня, который был принят в семье Гитлера как сын.

Тем временем мой отец начал свое собственное дело и открыл обойную мастерскую в доме номер 9 по Кламштрассе. Старый Баернрайтерхауз, грубый и неуклюжий, который все еще стоит там, ни в чем не изменившись, стал домом моего детства и юности. Узкая, темная Кламштрассе выглядела довольно бедно по сравнению со своим продолжением, широкой и просторной аллеей для прогулок с лужайками и деревьями.

Безусловно, нездоровые условия проживания способствовали ранней смерти моих сестер. В Баернрайтерхауз все было по-другому. На первом этаже находилась мастерская, а на втором – наша квартира, в которой имелись две комнаты и кухня. Но теперь у моего отца были постоянные денежные затруднения. Дело шло плохо. Он не раз помышлял о том, чтобы закрыть его и снова пойти на работу к производителям мебели. Но каждый раз в последний момент ему удавалось преодолеть трудности.

Я пошел в школу, что принесло неприятные переживания. Мать плакала над плохими отметками, которые я приносил домой в своем табеле. Ее печаль была единственным, что могло убедить меня учиться лучше. Что же касается отца, то он был уверен, что в свое время я займу его место в бизнесе – а иначе зачем он надрывается с утра до ночи? Это матушка хотела, чтобы я учился, несмотря на мои плохие отметки. Сначала я должен был четыре года отучиться в средней школе, а затем, быть может, пойти в педагогический колледж. Но я не хотел и слышать об этом. Я был рад, что мой отец топнул ногой и, когда мне исполнилось

десять лет, отправил меня учиться в школу, находящуюся в ведении местного совета. Отец полагал, что таким образом мое будущее будет решено окончательно.

Однако на протяжении долгого времени в моей жизни существовало нечто, что оказывало на нее влияние и за что я продал бы свою душу. Это была музыка. Эта любовь выразилась в полной мере, когда на Рождество 1897 года в девятилетнем возрасте я получил в подарок скрипку. Я отчетливо помню каждую подробность того Рождества, и, когда теперь, будучи стариком, возвращаюсь мыслями в прошлое, мне кажется, что моя сознательная жизнь началась с этого события. Старший сын нашего соседа был молодым учителем музыки, и он стал давать мне уроки игры на скрипке. Я учился быстро и хорошо.

Когда мой первый учитель музыки нашел себе работу за городом, я поступил в начальную музыкальную школу в Линце. Но там мне не очень понравилось, возможно, потому, что я был более продвинутым учеником. После каникул я опять стал брать частные уроки. На этот раз у пожилого старшины из оркестра австро-венгерской армии, который прямо дал мне понять, что я ничего не знаю, а затем стал учить меня игре на скрипке «на военный манер». Старый Копецкий устраивал мне настоящую казарменную муштру. Временами, когда я уже был сыт по горло его грубыми солдафонскими манерами, он утешал меня, уверяя, что еще немного и меня обязательно возьмут учеником-музыкантом в армию: по его мнению, это была вершина музыкальной славы. Я бросил свои занятия с Копецким и поступил в среднюю музыкальную школу, где меня обучал Генрих Дессауэр, талантливый, знающий свое дело и чуткий преподаватель. Одновременно я учился игре на трубе, тромбоне, изучал теорию музыки и играл в студенческом оркестре.

Я уже начал рассматривать перспективу сделать музыку делом своей жизни, когда суровая реальность дала о себе знать. Едва я окончил школу местного муниципального совета, как мне пришлось пойти учеником в мастерскую отца. Раньше, когда не хватало рабочих рук, мне приходилось помогать в мастерской, так что работа была мне знакома.

Отвратительное занятие – заново обивать старую мебель: снимать старую обивку и делать новую. Во время работы поднимаются тучи пыли, в которой задыхается несчастный ученик. Какие негодные старые матрасы приносили в нашу мастерскую! Все болезни, которые перенесли – а то и не перенесли – лежавшие на них люди, оставили свой след на этих старых тюфяках. Ничего удивительного, что обойщики не живут долго. Но скоро я обнаружил более приятные аспекты своей работы: для этого необходим личный вкус и художественное чутье, и это занятие недалеко ушло от украшения интерьеров. Приходилось посещать дома состоятельных людей, многое видеть и слышать, и, главным образом, зимой делать было почти нечего. И этот досуг я, естественно, посвятил музыке. Когда я успешно сдал экзамен на подмастерье, мой отец захотел, чтобы я поработал в других мастерских. Я понял его цель, но для меня важным было не совершенствовать свое мастерство, а делать успехи в занятиях музыкой. Таким образом, я предпочел остаться в мастерской отца, так как там мог свободнее распоряжаться своим временем, чем у другого хозяина.

«Обычно в оркестре слишком много скрипок и никогда в достаточном количестве нет альтов». И по сей день я благодарен своему учителю Дессауэру за то, что он применил этот принцип и сделал из меня хорошего альтиста. В те дни музыкальная жизнь в Линце была на поразительно высоком уровне; председателем Музыкального общества был Август Гёллерих. Будучи учеником Листа и работая вместе с Рихардом Вагнером в Байройте, Гёллерих был тем самым человеком, который должен был стать предводителем в музыкальной жизни Линца, о котором злословили, что это «крестьянский город». Каждый год Музыкальное общество давало три концерта симфонической музыки и один особый концерт, на котором обычно исполнялись произведения для хора с оркестром. Моя мать, несмотря на свое скромное происхождение, любила музыку и почти никогда не пропускала этих мероприятий. Меня еще маленьким брали на концерты. Мать все объясняла мне, и по мере того, как я овладевал игрой

на нескольких инструментах, моя способность оценить эти концерты возрастала. Моей высшей целью в жизни было играть в оркестре либо на альте, либо на трубе.

Но я продолжал обновлять пыльные старые матрасы и клеить на стены обои. В те годы мой отец сильно страдал от обычных профессиональных заболеваний обойщика. Когда однажды он на шесть месяцев слег с длительным легочным заболеванием, мне пришлось управляться в мастерской одному. Так в моей юности существовали бок о бок две вещи: работа, которая сказывалась на моих силах и особенно на легких, и музыка, моя всепоглощающая любовь. Я никогда не подумал бы, что между ними может появиться связь. И тем не менее она была. Один из клиентов моего отца был членом провинциального органа управления, который также руководил театром. Однажды в нашу мастерскую доставили для починки подушки к набору мебели в стиле рококо. Когда работа была выполнена, отец послал меня отвезти их в театр. Помощник режиссера направил меня на сцену, где я должен был вставить подушки в каркас мебели. В это время шла репетиция. Я не знаю, что именно репетировали, но, безусловно, это была опера. Но помню и по сей день восхищение, которое охватило меня, когда я стоял там, на сцене, среди певцов. Я преобразился, как будто в тот момент впервые нашел себя. Театр! Что за мир! Там стоял человек в великолепных одеждах. Мне он показался существом с другой планеты. Он пел так замечательно, что я не мог себе представить, что этот человек может разговаривать как обычные люди. Его могучему голосу вторил оркестр. Это было мне больше знакомо, но в тот момент все, что до этого музыка значила для меня, показалось пустяком. Только в совокупности со сценой музыка, казалось, достигает более высокого, более важного уровня, самого высокого, какой только можно себе представить.

Но я, жалкий маленький обойщик, стоял там и вставлял подушки на их прежние места в мебельном гарнитуре в стиле рококо. Какое жалкое занятие! Какое презренное существование! Театр – вот мир, который я искал. Игра и реальность смешались в моем возбужденном мозгу. Этот неловкий парень со взъерошенными волосами, в фартуке и рубашке с закатанными рукавами, который стоял за кулисами и возился с подушками, словно оправдывая свое присутствие, – был ли он на самом деле лишь бедным обойщиком? Бедный, презираемый простак, гоняемый взад-вперед, с которым клиент обращается так, словно он стремянка, которую ставят по необходимости туда-сюда, а когда она больше не нужна, отставляют в сторону? Было бы абсолютно естественно, если бы этот незаметный обойщик с инструментами в руках вышел к рампе и по знаку дирижера спел бы свою партию, чтобы доказать слушателям в партере и даже всему миру, что в действительности он не бледный долговязый парень из обивочной мастерской на Кламштрассе и что на самом деле его место – на сцене театра.

С того самого момента я оставался во власти чар театра. Очищая стены в доме клиента, намазывая их клеем, наклеивая на них газеты, а затем обои, я все время мечтал о громе аплодисментов в театре, видя себя дирижером, стоящим перед оркестром. Такие грезы не способствовали моей работе, и временами случалось так, что куски обоев оказывались не на месте. Но когда я возвращался в нашу мастерскую, мой больной отец быстро давал мне понять, какие задачи стоят передо мной.

Так я метался между мечтой и реальностью. Дома никто понятия не имел о моем умонастроении, так как я скорее откусил бы себе язык, чем произнес хоть слово о своих тайных честолюбивых замыслах. Даже от матери я скрывал свои надежды и планы, но она, наверное, догадывалась о том, что занимает мои мысли. Но следовало ли мне добавлять к ее многочисленным заботам новые? Так что не было никого, с кем я мог бы отвести душу. Я чувствовал себя ужасно одиноким, как изгой, таким одиноким, каким только может быть молодой человек, которому впервые открылись красота и опасность жизни.

Театр придал мне смелости. Я не пропускал ни одной оперной постановки. Каким бы усталым я ни был после работы, ничто не могло меня удержать от похода в театр. Естественно, на небольшое жалованье, которое отец платил мне, я мог позволить себе лишь билет на сто-

ячее место. Поэтому я имел обыкновение регулярно ходить на так называемый «променада», откуда можно было все отлично видеть. И к тому же я обнаружил, что ни в каком другом месте нет лучшей акустики. Как раз над «променадом» была расположена королевская ложа, поддерживаемая двумя деревянными колоннами. Эти колонны были очень популярны у завсегдатаев «променада», так как на них можно было опереться, чтобы получить хороший обзор сцены, ведь если опираться о стены, эти самые колонны всегда оказывались в поле зрения. Я был счастлив иметь возможность прислониться своей натруженной спиной к гладким колоннам после тяжелого дня, проведенного на верхней ступени стремянки! Разумеется, приходиться надо было рано, чтобы наверняка заполнить это место.

Часто именно простые вещи оставляют долго не проходящий след в человеческой памяти. Я по-прежнему вижу себя, спешащего в театр, раздумывающего, какую колонну выбрать, правую или левую. Но часто одна из двух колонн, та, что справа, была уже занята; кто-то был еще большим энтузиастом, чем я.

Наполовину раздосадованный, наполовину удивленный, я взглянул на своего соперника. Это был удивительно бледный и худой молодой человек приблизительно моего возраста, который следил за происходящим на сцене блестящими глазами. Я предположил, что он из более зажиточной семьи, так как он всегда был тщательно одет и очень сдержан.

Мы обратили друг на друга внимание, не обменявшись ни единым словом. Но некоторое время спустя в антракте мы разговорились, так как ни один из нас, как оказалось, не одобрил выбора актера на одну из ролей. Мы обсудили это и обрадовались нашему общему негативному отношению к этому вопросу. Меня поразило быстрое, уверенное восприятие нового знакомого. В этом он, без сомнения, превосходил меня. Однако, когда речь зашла о чисто музыкальных моментах, я почувствовал свое превосходство. Я не могу назвать точную дату этой первой встречи, но уверен, что это было незадолго до или вскоре после Дня Всех Святых в 1904 году.

Наше общение продолжалось в течение некоторого времени – он ничего не рассказывал о своих делах, да и я не считал необходимым говорить о себе, – но мы были чрезвычайно поглощены любым спектаклем, который шел на сцене, и чувствовали, что оба испытываем восторг перед театром.

Однажды после спектакля я проводил его до дома. Это был дом номер 31 на Гумбольдт-штрассе. Когда мы прощались, он назвал мне свое имя: Адольф Гитлер.

Глава 2

Дружба крепнет

С этого времени мы видели друг друга на каждом оперном спектакле, встречались и вне театра; почти каждый вечер мы вместе ходили прогуляться по Ландштрассе.

Если за последнее десятилетие Линц сделался современным индустриальным городом и стал привлекать людей со всех уголков Дунайского бассейна, то тогда он был всего лишь провинциальным городом. В пригородах все еще располагались основательные, похожие на крепости дома фермеров, а на окрестных полях, на которых пасся скот, вырастали многоквартирные дома. В маленьких трактирах сидели люди и пили местное вино; повсюду можно было услышать резкий сельский говор. В городе был транспорт только на конной тяге, и возницы заботились о том, чтобы Линц оставался «сельским». Городские жители, сами в основном из крестьян и часто имевшие близких родственников на селе, были склонны отдаляться от них тем больше, чем ближе было родство. Почти все влиятельные семьи в городе знали друг друга; коммерсанты, государственные служащие и военные задавали тон в обществе. Каждый человек, который хоть что-то собой представлял, совершал вечерние прогулки по главной улице города, которая ведет от железнодорожного вокзала к мосту через Дунай и многозначительно называется Ландштрассе. Так как в Линце не было университета, молодые люди всех сословий стремились подражать привычкам университетских студентов. Общественная жизнь на Ландштрассе почти могла конкурировать с жизнью венской Рингштрассе; так, по крайней мере, полагали жители Линца.

Мне показалось, что терпение не было одной из характерных черт Адольфа; всякий раз, когда я опаздывал к нему на встречу, он тут же шел за мной в мастерскую, и ему было не важно, что я ремонтировал – старый, черный, набитый конским волосом диван или старомодный стул или делал что-нибудь еще. Моя работа была для него не более чем утомительной помехой нашей личной дружбе. Он нетерпеливо вертел в руках небольшую черную трость, которую всегда носил с собой. Меня удивляло, что у него так много свободного времени, и я невинно спросил, работает ли он.

«Разумеется, нет», – ответил он сердито. Этот ответ, который я счел весьма необычным, он коротко прокомментировал. Он считал, что никакая работа «ради хлеба с маслом», как он выразился, ему не нужна.

Такого я еще ни от кого раньше не слышал. Это противоречило всем принципам, которые до того времени руководили моей жизнью. Сначала я видел в этих высказываниях не более чем юношеское бахвальство, хотя своим поведением, серьезной и уверенной манерой говорить Адольф совсем не производил на меня впечатления хвастуна. Во всяком случае, я очень удивился таким его взглядам, но воздержался от дальнейших вопросов, по крайней мере, в тот момент, потому что он, по-видимому, был очень нетерпим к вопросам, которые его не устраивали; это я к этому времени уже понял. Так что разумнее было разговаривать о «Лоэнгрине», опере, которая приводила нас в восторг больше, чем какая-либо другая, нежели обсуждать наши личные дела.

Вероятно, он сын богатых родителей или только что получил наследство и может позволить себе жить, не имея работы «ради хлеба с маслом», – в его устах это выражение звучало презрительно. Я ни в коем случае не считал его лентяем, так как в нем не было и крупинки от поверхностного, легкомысленного бездельника. Когда мы проходили мимо кафе Баумгартнера, он, бывало, бурно реагировал на молодых людей, которые демонстрировали себя, сидя за мраморными столиками за большими оконными стеклами, и тратили свое время на пустую болтовню; он, очевидно, не понимал, как сильно его негодование противоречит собственному

образу жизни. Возможно, некоторые из тех, кто сидел «в витрине», уже имели хорошую работу и гарантированный доход.

Может быть, этот Адольф студент? Таково было мое первое впечатление. Черная эбонитовая трость с изящным набалдашником из слоновой кости была неизменным атрибутом студента. Однако казалось странным, что в друзья себе он выбрал простого обойщика, вечно боявшегося, что люди унюхают запах клея, с которым он работал весь день. Если бы Адольф был студентом, он должен был ходить куда-то учиться. Внезапно я завел речь о школе.

«Школа?» Это был первый взрыв раздражительности, свидетелем которого я стал. Он не желал ничего слышать о школе. По его словам, школа его больше не интересовала. Он ненавидел учителей и даже больше – не здоровался с ними; он также ненавидел и своих одноклассников, которых, как он сказал, школа лишь превращает в бездельников. Нет, упоминать школу мне не разрешалось. Я рассказал ему, как слабо сам учился в школе. Он захотел знать почему. Ему не понравилось, что я так плохо успевал в школе, несмотря на все презрение, которое он проявлял по отношению к школьному обучению. Меня смутило это противоречие. Но вот что я понял из нашего разговора: он, вероятно, до недавнего времени учился в школе, возможно, в средней школе или техникуме; и, очевидно, это закончилось плачевно. В противном случае такое полное неприятие школы вряд ли было объяснимо. Он не переставал меня удивлять постоянными противоречиями и загадками и во всем остальном. Иногда он казался мне почти злым. Однажды, когда мы прогуливались по горе Фрайнберг, он вдруг остановился, вытащил из кармана небольшую черную записную книжку – я до сих пор вижу ее перед глазами и мог бы подробно описать – и прочитал мне написанное им стихотворение.

Я уже не помню самого стихотворения и, если быть точным, не смогу отличить его от других стихотворений, которые Адольф читал мне позже. Но отчетливо помню, какое большое впечатление произвело на меня то, что мой друг пишет стихи и носит их с собой точно так же, как я ношу свои инструменты. Когда позднее Адольф показал мне свои рисунки и эскизы – несколько беспорядочные и сбивающие с толку наброски, которые, вообще говоря, были выше моего понимания, – когда он сказал мне, что у него дома в его комнате гораздо больше лучших работ и что он принял решение посвятить всю свою жизнь искусству, тогда до меня дошло, каким человеком был мой друг. Он принадлежал к той особой породе людей, о которых я грезил в самых смелых мечтах. Это был человек искусства, который презирал простой труд ради куска хлеба с маслом и посвятил себя поэзии, рисованию, живописи и хождению в театр. Это произвело на меня огромное впечатление. Меня взволновала духовная сила, которую я в этом увидел. Мои представления о человеке искусства в те времена были еще очень туманными – вероятно, такими же туманными, как и представления Гитлера. Но от этого все становилось еще более притягательным.

Адольф редко рассказывал о своей семье. Обычно он говорил, что разумнее не слишком много общаться со взрослыми, так как эти люди с их особыми представлениями лишь отвлекают человека от его собственных планов. Например, его опекун, крестьянин из Леондинга по имени Майрхофер, вбил себе в голову, что он, Адольф, должен учиться какому-нибудь ремеслу. Зять Адольфа придерживался такого же мнения.

Я могу только заключить, что отношения Адольфа со своей семьей, вероятно, были довольно своеобразными. Из взрослых он, очевидно, принимал только одного человека, свою мать. Вдобавок ему было всего шестнадцать лет – он был на девять месяцев моложе меня.

Как бы сильно его идеи ни отличались от буржуазных представлений, это меня совсем не волновало – напротив! Именно тот факт, что он выделялся среди всего заурядного, привлекал меня еще больше. Посвятить жизнь искусству было, по моему мнению, самым серьезным решением, которое мог принять молодой человек; ведь я тоже втайне рассматривал идею поменять пыльную и шумную мастерскую обойщика на чистые и благородные сферы искусства, отдать свою жизнь музыке. Для молодых людей ни в коем случае не может быть несущест-

ственным то, в какой среде начинается их дружба. Мне показалось символичным, что наша дружба родилась в театре, среди замечательных сцен и под мощные звуки великой музыки. В определенном смысле сама наша дружба существовала в этой счастливой атмосфере.

К тому же мое собственное положение было похоже на положение Адольфа. Школа была позади и ничего больше не могла мне дать. Несмотря на мою любовь и преданность родителям, взрослые не очень много значили для меня. И прежде всего, невзирая на многие проблемы, которые одолевали меня, не было никого, кому я мог бы доверять.

Тем не менее вначале это была трудная дружба, потому что наши характеры были совершенно разными. В то время я был тихим, до некоторой степени мечтательным юношей, очень чувствительным и легко приспосабливающимся, а поэтому всегда готовым уступить. Адольф был чрезвычайно вспыльчивым и взвинченным. Совершенно обычные вещи, такие как несколько необдуманных слов, могли вызвать в нем взрывы раздражительности, которые, на мой взгляд, были совершенно несоразмерны значимости вопроса. Но возможно, я неправильно понимал Адольфа. Может быть, отличие между нами состояло в том, что он воспринимал серьезно все, что казалось мне совершенно не важным. Да, это была одна из его типичных черт характера; все вызывало интерес и волновало его – он ни к чему не был равнодушен.

Но, несмотря на все трудности, вытекавшие из наших разных темпераментов, сама наша дружба никогда не подвергалась серьезной опасности. Подобно многим другим молодым людям, мы не охладели и не стали друг к другу равнодушны со временем. Наоборот! Мы очень старались не сталкиваться во мнениях по повседневным вопросам. Кажется необычным, но он, так упрямо придерживавшийся своей точки зрения, мог также быть таким деликатным, что иногда я чувствовал себя пристыженным. Так что с течением времени мы все больше и больше привыкали друг к другу.

Скоро я начал понимать, что наша дружба продолжается главным образом потому, что я был терпеливым слушателем. Но я не был неудовлетворен этой пассивной ролью, так как она давала мне понять, как сильно мой друг нуждается во мне. Он тоже был совершенно одинок. Его отец к тому времени уже два года как умер. Но как бы он ни любил свою мать, она не могла помочь ему в решении его проблем. Я помню, как он, бывало, читал мне длинные лекции о вещах, которые совсем меня не интересовали, о таких, как, например, взимание пошлины у моста через Дунай или сбор средств на улицах для благотворительной лотереи. Ему просто надо было высказаться, и он нуждался в ком-то, кто бы его выслушал. Я часто пугался, когда он обращался ко мне с речью, сопровождая ее энергичной жестикуляцией исключительно для меня. Его никогда не волновал тот факт, что я был единственным его слушателем. Но молодому человеку, который подобно моему другу страстно интересовался всем, что он видел и пережил, необходимо было найти выход своим бурным чувствам. Напряжение, которое он ощущал, снималось рассуждениями об этих вещах. Эти речи, которые он произносил обычно где-нибудь на открытом воздухе, под деревьями на горе Фрайнберг, в рощах у Дуная, казалось, были извержениями вулкана. Это выглядело так, как будто что-то неведомое, из иного мира, вырывается из него. Такую бурю чувств я видел до этого лишь в театре, когда актер должен был выразить какие-то сильные эмоции, и сначала, столкнувшись с такими «извержениями», я мог лишь пассивно стоять разинув рот и забывая аплодировать. Но вскоре я понял, что это не актерская игра. Нет, он не играл роль, ничего не преувеличивал, он это действительно чувствовал, и я видел, что он совершенно искренен. Я снова и снова поражался тому, как легко он выражает свои мысли, как живо ему удается передавать свои чувства, как свободно текут слова с его языка, когда его захватывают эмоции. Сначала на меня производило впечатление не то, что он говорил, а то, как он это говорил. Для меня это было чем-то новым и удивительным. Я никогда не мог себе представить, что человек может производить такой эффект простыми словами. Но от меня он хотел одного – чтобы я соглашался с ним. Вскоре я это понял. Мне

было нетрудно соглашаться с ним, потому что я никогда не задумывался над многими вопросами, которые он поднимал.

Тем не менее было бы неправильным предполагать, что наша дружба ограничивалась лишь этими односторонними отношениями. Это было бы слишком недостойно Адольфа и слишком мало для меня. Важно было то, что мы дополняли друг друга. В нем все вызывало сильную реакцию и заставляло его становиться оратором, ведь его эмоциональные вспышки говорили лишь о его страстном интересе ко всему. Я, с другой стороны, будучи натурой пассивной, безоговорочно принимал все его доводы относительно того, что его интересовало, и поддавался им, за исключением вопросов, связанных с музыкой.

Конечно, я должен признать, что притязания Адольфа на меня были безграничны и занимали все мое свободное время. Так как ему самому не было нужды придерживаться определенного расписания, мне приходилось быть всецело в его распоряжении. Он требовал от меня всего, но также был готов сделать все и для меня. На самом деле у меня не было альтернативы. Моя дружба с ним не оставляла мне времени на дружбу с другими людьми, да я и не чувствовал в них необходимости. Адольф для меня значил столько, сколько значила бы дружба с дюжиной других, обычных друзей. Только одно могло бы заставить нас расстаться – если бы мы оба влюбились в одну и ту же девушку; это было бы серьезно. Так как в то время мне было семнадцать лет, это вполне могло бы произойти. Но именно в этом отношении судьба припасла для нас особое решение. Это было такое уникальное решение – я опишу его позже в главе под названием «Стефания», – что вместо того, чтобы разрушить нашу дружбу, оно углубило ее.

Я знал, что у него тоже не было никакого друга, кроме меня. В этой связи я помню одну совершенно тривиальную деталь. Это случилось, когда мы гуляли по Ландштрассе. Из-за угла вышел молодой человек приблизительно нашего возраста, пухлый, щегольски одетый молодой господин. Он узнал в Адольфе бывшего одноклассника, остановился и, ухмыляясь во весь рот, крикнул: «Привет, Гитлер!» Он фамильярно взял его под руку и вполне заинтересованно спросил, как тот поживает. Я ожидал, что Адольф ответит ему в той же дружеской манере, так как он всегда придавал большое значение корректному и вежливому поведению. Но мой друг покраснел от гнева. По опыту я знал, что эта смена выражения лица не предвещает ничего хорошего. «Тебе-то какое дело?» – возбужденно бросил он в ответ и резко оттолкнул его. Потом он взял меня под руку и пошел вместе со мной, не беспокоясь об этом молодом человеке, покрасневшее недоуменное лицо которого я и по сей день вижу перед собой. «Все они будущие госслужащие, – сказал Адольф, все еще разъяренный, – и с такой компанией мне пришлось сидеть в одном классе». Он не скоро успокоился.

В моей памяти всплывает еще один случай. Умер весьма уважаемый мной мой учитель игры на альте Генрих Дессауэр. Адольф пошел со мной на похороны, что сильно удивило меня, так как он не был знаком с профессором Дессауэром. Когда я выразил ему свое удивление, он сказал:

«Я не вынесу, если ты будешь общаться с другими молодыми людьми, разговаривать с ними».

Не было конца поводам, даже пустячным, которые могли его расстроить. Но больше всего он раздражался, когда ему намекали на то, что ему следует стать государственным служащим. Всякий раз, когда он слышал слова «государственный служащий», даже без всякой связи с его собственной карьерой, он впадал в ярость. Я обнаружил, что эти вспышки гнева были в определенном смысле ссорами с его давно умершим отцом, самым большим желанием которого было сделать из него государственного служащего. Эти вспышки были, так сказать, «посмертной защитой».

Неотъемлемой частью нашей дружбы в то время было то, чтобы мое мнение о государственных служащих было таким же низким, как и его. Зная о его яростном неприятии карьеры в сфере госслужбы, я могу теперь понять, что он предпочитал дружбу простого обойщика

дружбе тех испорченных баловней, которым было гарантировано покровительство благодаря их связям и которые заранее точно знали, по какой стезе пойдет их жизнь. Гитлер был совершенной им противоположностью. У него все было неопределенно. Существовал еще один положительный момент, который делал меня в глазах Адольфа человеком, дружба с которым была предопределена: подобно ему я считал, что искусство – это самое лучшее, что существует в жизни человека. Конечно, в те времена мы не могли выразить это чувство такими высокими словами. Но на практике мы следовали этому принципу, потому что в моей жизни музыка уже давно стала решающим фактором; в мастерской я работал, только чтобы заработать себе на жизнь. Для моего друга искусство значило даже еще больше. То, как он настойчиво все впитывал, тщательно исследовал, отвергал, его ужасающая серьезность, его постоянно активный ум требовали уравнивающей силы. И только искусство могло ее дать.

Таким образом, я отвечал всем требованиям, которые он предъявлял к другу: у меня не было ничего общего с его бывшими одноклассниками; я не имел отношения к государственной службе; и я жил исключительно ради искусства. К тому же я много знал из области музыки. Сходство наших наклонностей, равно как и несходство наших темпераментов, крепко спаяло нас.

Я предоставляю другим судить, выбирают ли себе такие люди, которые, как Адольф, находят свой путь с уверенностью лунатика, товарища, необходимого им на конкретном отрезке их пути, случайно, или судьба выбирает за них. Я всего лишь могу сказать, что начиная с нашей первой встречи в театре и вплоть до того времени, когда он бедствовал в Вене, я был таким товарищем Адольфа Гитлера.

Глава 3

Портрет молодого Гитлера

У меня нет фотографий Адольфа, сделанных в годы нашей дружбы, – вероятно, из этого периода жизни нет ни одной его фотографии. Отсутствие фотографий тех времен совершенно не удивляет. В начале века не было фотокамер, которые можно было бы удобно носить с собой, и даже если бы такие имелись, мы не смогли бы себе такую позволить. Если вы хотели иметь свой портрет, то шли в фотостудию. Это тоже было дорого, и требовалось как следует подумать, прежде чем доставить себе такое удовольствие. Насколько я помню, мой друг никогда не выражал желания сфотографироваться. Он никогда не был тщеславным, даже тогда, когда в его жизнь вошла Стефания. Я полагаю, что существует не более пяти фотографий Адольфа Гитлера, сделанных в годы формирования его личности.

Самая ранняя из известных фотографий изображает Адольфа младенцем в возрасте нескольких месяцев, она была сделана в 1889 году. На ней видны характерные пропорции носа, щек, рта, светлые пронзительные глаза и челка. Что больше всего поражает в этом портрете – огромное сходство мальчика с матерью. Я сразу же заметил его при первой встрече с фрау Гитлер. Его сестра Паула была похожа на отца. Я никогда не знал его, так что я полагаюсь на то, что мне сказала фрау Гитлер.

Фотографии школьных лет Гитлера – это групповые фотографии класса, портретов нет; несмотря на временной интервал между ними, на обеих мы видим все то же инородное лицо, как будто ничто не изменило его. Для меня они отражают неотъемлемую характеристику его личности, этот вид «я остаюсь неизменным». Есть набросок, на котором он изображен в профиль, оставшийся от школьных лет в Штайре (город в Верхней Австрии. – *Пер.*), когда ему было шестнадцать лет. Художник Штурмлехнер назвал его nach der Natur – «точно воспроизведенный». Конечно, рисунок любительский, но тем не менее я считаю, что он довольно хорошо передал сходство.

Адольф был среднего роста, стройный; в то время он был уже выше своей матери. Телосложение он имел далеко не крепкое, был скорее слишком худым для своего роста и совсем не сильным. В действительности его здоровье было довольно слабым, о чем он первый и сожалел. Ему приходилось особенно заботиться о себе в туманные и сырые зимы, которые преобладали в Линце. Время от времени зимой он заболел и сильно кашлял. Короче, у него были слабые легкие.

У Адольфа был совершенно прямой и пропорциональный, но ничем не примечательный нос, высокий и слегка скошенный лоб. Я всегда сожалел о том, что даже в те дни он имел привычку зачесывать волосы прямо на лоб. И все-таки это традиционное описание «лоб – нос – рот» кажется мне довольно смешным. Ведь на этом лице глаза выделялись так, что зритель не замечал больше ничего. Никогда в своей жизни я не видел другого человека, во внешности которого – как же мне это сказать?.. – столь доминирующую роль играли бы глаза. Это были светлые глаза его матери, но ее несколько пристальный, пронизывающий взгляд был даже еще более выражен у ее сына и имел еще больше силы и выразительности. Было необъяснимо, как эти глаза могли менять свое выражение, особенно когда Адольф говорил. Для меня его звучный голос значил гораздо меньше, чем выражение глаз. Адольф говорил глазами, и, даже когда его губы не издавали ни звука, я знал, что он хочет сказать. После того как он впервые пришел к нам в дом и я представил его своей матери, она сказала мне вечером: «Какие глаза у твоего друга!» И я вполне отчетливо помню, что в ее словах было больше страха, нежели восхищения. Если меня спросят, в чем можно увидеть исключительные качества человека в годы его юности, я отвечу: «В глазах».

Разумеется, поражало и его необыкновенное красноречие. Но тогда я был слишком неопытным, чтобы придавать ему какое-то особое значение. Я, например, был уверен, что Гитлер когда-нибудь станет великим артистом, поэтом – так я думал сначала, – потом полагал, что он станет великим художником, пока позднее, в Вене, он не убедил меня в том, что его настоящий талант лежит в области архитектуры. Но для этих художественных устремлений его красноречие было бесполезным или даже скорее помехой. И все же мне всегда нравилось его слушать. Его язык был очень грамотным. Он не любил диалект, особенно венский, мягкая мелодичность которого была ему совершенно отвратительна. По-настоящему Гитлер не говорил на австрийском немецком. Пожалуй, в его манере говорить, особенно в ритме речи, было что-то баварское. Возможно, это было благодаря тому, что с трех до шести лет, когда у человека по-настоящему формируется речь, он жил в Пассау, где его отец служил таможенным чиновником.

Нет сомнений в том, что ораторский талант моего друга Адольфа проявился в ранней юности. И он знал это. Он любил говорить, и говорил без остановки. Временами, когда он слишком высоко воспарял в своих фантазиях, я не мог не заподозрить, что все это было лишь упражнением в красноречии. Но потом начинал думать иначе. Разве я не принимал как абсолютную истину все, что он говорил? Иногда Адольф испытывал на мне или других свои ораторские способности. У меня навсегда осталось в памяти то, как, еще не достигнувший восемнадцати лет, он убедил моего отца в том, что тому следует освободить меня от работы в его мастерской и послать меня в Венскую консерваторию. Учитывая трудный, замкнутый характер моего отца, это было значительным достижением. С того момента, как я получил это доказательство его таланта, имевшего для меня решающее значение, я стал считать, что нет ничего такого, чего бы Гитлер не мог добиться убедительной речью.

Он имел привычку акцентировать свои слова размеренными, продуманными жестами. Время от времени, когда он говорил на одну из своих излюбленных тем, например о мосте через Дунай, реконструкции музея или даже о подземной железнодорожной станции, которую он запланировал построить в Линце, я, бывало, прерывал его и спрашивал, как он собирается осуществить эти проекты, – мы были всего лишь жалкими пацанами. И тогда он бросал на меня холодный, враждебный взгляд, как будто совсем не понимал моего вопроса. Он никогда не отвечал; самое большее – делал мне знак замолчать. Позже я привык к этому и перестал считать смешным то, что шестнадцати-семнадцатилетний юноша разрабатывает большие проекты и излагает их мне до последней детали. Если бы я слушал только его слова, весь замысел показался бы мне либо пустой фантазией, либо чистым безумием, но его глаза убеждали меня, что он абсолютно серьезен.

Адольф придавал большое значение хорошим манерам и корректному поведению. Со скрупулезным педантизмом он соблюдал правила поведения в обществе, как бы мало он ни думал о самом обществе. Он всегда подчеркивал положение своего отца, который был в ранге таможенного служащего, приблизительно соответствовавшем чину капитана в армии. Услышав, как он говорит о своем отце, никто никогда бы не подумал, как сильно ему не нравится идея быть государственным служащим. Тем не менее в его манере себя вести было что-то педантичное. Он никогда не забывал передать привет моим домашним, а в каждой открытке от него содержались поклоны моим «достопочтенным родителям».

Когда мы снимали вместе комнату в Вене, я заметил, что каждый вечер он аккуратно кладет свои брюки под матрас, чтобы на следующее утро иметь безупречные «стрелки» на штанинах. Адольф знал цену хорошему внешнему виду и, несмотря на отсутствие у него тщеславия, знал, как лучше всего преподать себя. Он великолепно пользовался своими несомненными актерскими талантами, которые умело сочетал с даром красноречия. Я, бывало, спрашивал себя, почему Адольф, невзирая на все эти явные способности, не сильно преуспел в Вене. И только позже понял, что профессиональный успех совсем не входил в его честолюбив-

вые замыслы. Люди, которые знали его в Вене, не могли понять противоречие между его холерной внешностью, его речью образованного человека и самоуверенным поведением и нищенским существованием, которое он влачил, и считали его либо высокомерным, либо человеком с претензиями. Он не был ни тем ни другим. Он просто не вписывался в буржуазный строй.

Адольф довел голодание до искусства, хотя ел очень хорошо, когда представлялась такая возможность. В Вене у него обычно не хватало денег на еду. Но даже если они у него были, он предпочитал голодать и тратить их на билет в театр. Он не понимал радостей жизни, как их понимали другие. Он не курил, не пил, и в Вене, например, много дней подряд мог питаться лишь молоком и хлебом.

С таким презрением ко всему, что относилось к телу, спорт, который тогда входил в моду, для него ничего не значил. Я где-то прочитал о том, как бесстрашно молодой Гитлер переплыл Дунай. Я не припоминаю ничего подобного; самое большее – мы могли иногда окунуться в речке Родель. Он проявил некоторый интерес к велосипедному клубу, главным образом потому, что зимой они соревновались на катке. И это только потому, что девушка, которую он обожал, каталась там на коньках.

Ходьба была единственным физическим упражнением, которое действительно нравилось Адольфу. Он ходил всегда и везде, и даже в моей мастерской и в моей комнате обычно вышагивал взад и вперед. Я помню, что он всегда был на ногах, мог ходить часами и не уставать. Мы обычно исследовали окрестности Линца во всех направлениях. У него была выраженная любовь к природе, но очень своеобразная. В отличие от других тем природа никогда не привлекала его как объект для изучения. Едва ли я припомню, чтобы видел его с книгой на эту тему. Здесь была граница его жажды знаний. В школе он однажды очень увлекся ботаникой и вырастил небольшой садик различных растений, но это была лишь школьная прихоть, и ничего больше. Подробности его не интересовали, лишь природа как единое целое. Он называл ее «окружающий мир». Это выражение было в его устах таким же привычным, как и слово «дом». Да он и на самом деле чувствовал себя на природе как дома. Еще в первые годы нашей дружбы я обнаружил его особую тягу к длительным ночным прогулкам или даже к ночевкам в каком-нибудь незнакомом месте.

Пребывание на природе оказывало на него необычайное воздействие. Он становился совершенно другим человеком, не таким, каким был в городе. Определенные стороны его характера проявлялись только здесь. Он никогда не бывал таким собранным и сосредоточенным, каким был во время прогулок по уединенным тропинкам в буковых лесах Мюльфиртеля (область севернее Дуная, административный район Верхней Австрии, уголок красивой и несколько мрачной природы. – *Пер.*) или ночью, когда мы предпринимали недолгую прогулку на гору Фрайнберг. Под ритм шагов его мысли текли более гладко и целенаправленно, чем в каком-то другом месте. В течение длительного времени я не мог понять в нем одно своеобразное противоречие. Когда на улицах ярко светило солнце и свежий, живительный ветер приносил в город запах лесов, непреодолимая сила влекла его с узких, душных улиц в леса и поля. Но едва мы добирались до открытой сельской местности, как он начинал уверять меня, что не смог бы снова жить за пределами города. Для него было бы ужасным оказаться вынужденным жить в деревне. Несмотря на всю любовь к природе, он всегда радовался, когда мы возвращались в город.

По мере того как все лучше узнавал его, я также стал понимать это явное противоречие. Ему нужен был город, разнообразие и изобилие его впечатлений, переживаний и событий; в нем он ощущал, что разделяет его жизнь во всем, что в городе нет ничего, что не вызывало бы его интерес. Ему нужны были люди с их противоположными интересами, честолюбивыми замыслами, намерениями, планами и желаниями. Только в такой атмосфере, полной проблем, он чувствовал себя дома. С этой точки зрения деревня была слишком простой, незначительной, скромной; она не предоставляла достаточного простора для его безграничной потребности в

познании всего. Кроме того, для него город был интересен сам по себе как сосредоточение домов и зданий. Понятно было его желание жить только в городе.

Однако ему нужен был достойный противовес городу, который всегда волновал и возбуждал его и постоянно требовал от него талантов и интереса. Такой противовес он находил в природе, которую он не мог пытаться изменить и усовершенствовать, потому что ее вечные законы не находятся во власти человеческой воли. Здесь он снова мог обрести самого себя, так как здесь он не был обязан, как в городе, постоянно вставать на чью-либо сторону.

У моего друга был свой способ заставить природу служить себе. Он имел обыкновение находить уединенный уголок за городом, который посещал снова и снова. Каждый куст и каждое дерево были там знакомы ему. Там ничто не могло побеспокоить его во время размышлений. Природа окружала его, как стены тихой, удобной комнаты, в которой он мог без помех возвращать свои необузданные планы и идеи.

На протяжении некоторого времени в ясные дни он имел обыкновение приходить на одну лавочку на Турмляйтенвег, где устроил себе нечто вроде кабинета на открытом воздухе. Там он читал книги, делал карандашные наброски и рисовал акварелью. Там родились его первые стихи. Другое место, которое позднее стало его любимым, было даже еще более уединенным и укромным. Иногда мы сидели на высоко нависшей скале и глядели вниз на Дунай. Панорама неспешно текущей реки всегда волновала Адольфа. Как часто мой друг рассказывал мне здесь о своих планах! Иногда чувства его переполняли, и он давал волю воображению. Помню, как однажды он так живо описывал мне путешествие Кримхильды в страну гуннов, что мне показалось, будто я вижу могучие корабли царей Бургундии, плывущие по реке.

Совершенно другими были наши дальние экскурсии. Особых приготовлений не требовалось: единственным реквизитом была крепкая палка для ходьбы. Со своей повседневной одеждой Адольф обычно носил разноцветную рубашку и – как знак его намерения предпринять длительное путешествие – вместо обычного галстука надевал шелковый шнурок с двумя свисающими вниз кисточками. Мы не брали с собой еды, но где-нибудь доставали себе кусок черствого хлеба и стакан молока. Какие это были замечательные, беззаботные времена!

Мы презирали железные дороги и автобусы и везде ходили пешком. Когда бы мы ни совмещали наше воскресное путешествие с прогулкой к моим родителям, которая имела для нас то преимущество, что мой отец угощал нас хорошим обедом на постоялом дворе, мы отправлялись в путь достаточно рано, чтобы встретиться с ними в нашем пункте назначения, до которого они ехали на поезде. Мой отец особенно любил небольшую деревушку под названием Вальдинг, которая привлекала нас потому, что поблизости протекала речка Родель, в которой мы любили купаться в теплые летние дни.

В моей памяти остался один случай. Мы с Адольфом вышли с постоялого двора, чтобы искупаться в речке. Мы оба были довольно хорошими пловцами, но моя мать тем не менее нервничала. Она пошла следом и встала на выступающем утесе, чтобы наблюдать за нами. Утес наклонно уходил вниз, к воде, и был покрыт мхом. Моя бедная мать, которая с беспокойством наблюдала за нами, поскользнулась на гладком мхе и съехала в воду. Я находился слишком далеко, чтобы тут же помочь ей, но Адольф немедленно прыгнул за ней в воду и вытащил ее на берег. Он всегда оставался преданным моим родителям. В 1944 году на восьмидесятилетие моей матери он прислал ей продуктовую посылку.

Адольф особенно любил Мюльфиртель. От Пёстлингберга мы, бывало, шли пешком через Хольцпольдл и Элендсиммерль в Грамаштеттен или бродили по лесам, расположенным вокруг Лихтенхагских развалин. Адольф измерял стены, хотя от них немного осталось, и заносил данные в свой альбом, который всегда носил с собой. Несколькими штрихами он набрасывал изначальный вид замка, пририсовывал ров и подъемный мост, украшал стены причудливыми остроконечными башенками и бельведерами. Там он однажды, к моему удивлению, воскликнул: «Это идеальные декорации к моему сонету!» Но когда я захотел больше узнать

об этом, сказал: «Я должен сначала посмотреть, что из этого получится». А по пути домой он признался, что собирается попытаться сделать из этого материала пьесу.

Обычно мы ходили в Сент-Джорджен-он-зе-Гузен, чтобы узнать, какие следы остались от знаменитого сражения Крестьянской войны. Когда наши поиски оказались безуспешны, Адольфу пришла в голову необычная идея. Он был убежден, что люди, которые жили там, должны были иметь какие-нибудь смутные воспоминания об этом великом сражении. На следующий день он снова пошел туда один после тщетной попытки уговорить моего отца дать мне выходной. Он провел там два дня и две ночи, но я не помню, с каким результатом.

Адольф для разнообразия хотел посмотреть на свой любимый Линц с восточной стороны, и мне пришлось совершить вместе с ним неприятное восхождение на гору Пфеннингберг, к которой жители Линца, по его недовольному выражению, не проявляли достаточного интереса. Мне тоже нравилась панорама города, но с этой стороны – меньше всего. Тем не менее Адольф часами оставался в этом непривлекательном месте и делал зарисовки.

Вместе с тем монастырь Святого Флориана и для меня тоже стал местом паломничества, так как в этом месте, где работал и освящал окрестности своей памятью Антон Брукнер (композитор-романтик, органист Линцкого собора, преподаватель Венской консерватории (1824—1896); один из крупнейших симфонистов второй половины XIX в., автор 9 симфоний, 4 месс и др., в своем творчестве опирался на традиции церковной католической и народной музыки. – *Пер.*), мы воображали, что действительно встречали «божественного музыканта» и слышали его вдохновенные импровизации на огромном органе в величественной церкви. Потом мы стояли перед простой могильной плитой, вставленной в пол под хорами, где великий мастер был похоронен десятью годами ранее. Замечательный монастырь вызвал в моем друге величайшее воодушевление. Он стоял перед великолепной лестницей час или больше – по крайней мере, на мой взгляд, слишком долго. А как он восхищался богатством библиотеки! Но самое глубокое впечатление оставил в нем контраст между чрезмерно разукрашенными помещениями монастыря и простой комнатой Брукнера. Когда он увидел ее скромную обстановку, то укрепился в своей вере в то, что на этой земле гений почти всегда идет рука об руку с бедностью.

Такие посещения раскрывали мне характер Адольфа, так как он по своей природе был очень замкнутым. В его личности всегда был определенный уголок, в который он никому не позволял проникнуть. У него были свои непостижимые секреты, и он во многих отношениях всегда оставался для меня загадкой. Но существовал один ключ, который открывал дверь ко многому, что обычно оставалось скрытым:

его восторг перед красотой. Все это разделяло нас, когда мы стояли перед таким величественным произведением искусства, как монастырь Святого Флориана. Затем, воспламененный восторгом, Адольф убирал защитные барьеры вокруг себя, и я в полной мере ощущал радость от нашей дружбы.

Меня часто спрашивали – и даже Рудольф Гесс, который однажды пригласил меня навещать его в Линце, – было ли у Адольфа в те годы, когда я его знал, чувство юмора. Люди из его окружения говорили, что его недостаток ощущается. В конце концов, он был австрийцем, и в нем должна была быть доля знаменитого австрийского чувства юмора. Безусловно, Гитлер, особенно после короткого и поверхностного знакомства с ним, создавал о себе впечатление глубокого и серьезного человека. Эта безмерная серьезность, казалось, затеняла все остальное. Все было точно так же, когда он был молод. К любой проблеме, встававшей перед ним, он подходил с чрезвычайной серьезностью, которая не вязалась с его шестнадцатью или семнадцатью годами. Он был способен любить и восхищаться, ненавидеть и презирать – все это с величайшей серьезностью. Но одного он не мог сделать – отнестись к чему-нибудь с улыбкой. Это касалось даже того, что не интересовало его лично, например к спорту, явлению того времени, – это было так же важно для него, как и что-либо другое. Его проблемам не было конца. Глубокая серьезность не переставала заставлять его энергично браться за новые проблемы, и

если в какой-то момент он их не находил, часами размышлял дома над книгами и копался в проблемах прошлого. Эта необыкновенная вдумчивость была самой поразительной чертой его характера. Многие другие качества, характерные для молодости: бездумное времяпрепровождение, жизнь только сегодняшним днем, удобная позиция «чему быть, того не миновать», в нем отсутствовали. Даже «схождение с рельсов» в бурные молодые годы было ему чуждо. Удивительно, но он считал, что все это не приличествует молодому человеку. И поэтому юмор ограничивался самой интимной сферой, словно это было что-то запретное. Обычно его юмор был направлен на людей из ближайшего его окружения, другими словами, на ту область, в которой для него проблем больше не существовало. По этой причине его мрачный и неприятный юмор часто смешивался с иронией, но всегда дружеской. Так, однажды, увидев меня на концерте, где я играл на трубе, он сильно забавлялся, изображая меня, и утверждал, что с раздутыми щеками я был похож на одного из ангелов Рубенса.

Я не могу закончить эту главу, не упомянув об одной из характерных черт Гитлера, которая, как я открыто признаю, кажется сейчас парадоксальной темой для обсуждения. Гитлер был полон глубокого понимания и сочувствия. Он проявлял ко мне самый трогательный интерес. Я мог не говорить ему ни слова, но он точно знал мое настроение. Как часто это помогало мне в трудные времена. Он всегда знал, что мне нужно и чего я хочу. Как бы сильно он ни был занят собой, у него всегда находилось время для дел тех людей, которые его интересовали. И не случайно именно он убедил моего отца разрешить мне изучать музыку и тем самым решающим образом повлиял на мою жизнь. Это, скорее, было результатом его отношения ко мне, стремления участвовать во всем, что касалось меня. Иногда у меня было чувство, что он живет не только своей, но и моей жизнью.

Таким образом, я по памяти нарисовал портрет молодого Гитлера так, как смог. Но на вопрос, тогда неизвестный и невысказанный, который висел над нашей дружбой, я и по сей день не нашел ответа: «Чего хотел Господь Бог от этого человека?»

Глава 4

Портрет его матери

Когда я впервые встретился с Кларой Гитлер, она была уже сорокапятилетней женщиной и два года как вдовой. Она выглядела так, как на единственной существующей своей фотографии, хотя страдания оставили отчетливые следы на ее лице, а волосы начали седеть. Но Клара Гитлер оставалась красивой женщиной до самой смерти. Всякий раз, когда я видел ее, у меня – не знаю почему – появлялось чувство сострадания к ней, и мне хотелось что-нибудь сделать для нее. Она была рада, что Адольф нашел друга, который ему нравился и которому он доверял, и по этой причине фрау Гитлер тоже любила меня. Как часто она делилась со мной тревогами, которые вызывал в ней Адольф! И как горячо надеялась заручиться моей помощью в том, чтобы убедить сына последовать желаниям его отца в выборе карьеры! Я вынужден был разочаровать ее, но она не винила меня, так как, вероятно, чувствовала, что причины поведения Адольфа лежали гораздо глубже и были неподвластны моему влиянию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.